



Ефим
БЕРШИН

МЕРТВОЕ
МОРЕ

Ефим Бершин
Мертвое море

«Алетейя»

2021

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

Бершин Е.

Мертвое море / Е. Бершин — «Алетейя», 2021

ISBN 978-5-00165-214-4

Все беды из-за того, что люди пытаются постичь истину при помощи молота и наковальни. То есть насилием, которое диктует разум. Так ребенок раздирает в клочья куклу, чтобы понять, как она говорит «мама». В одном из давних своих интервью Ефим Бершин, перефразировав использованную для «Капричос» Франсиско Гойей испанскую поговорку, объявил, что бессонница разума рождает чудовищ. Не сон, а именно бессонница. «Они разумны, Господи! Разумны! И в этом суть. И в этом их вина». Истина сокрыта от человека, ибо не он создавал этот мир. Поэтому истина для него – всегда иррациональна. А иррациональный мир возможно постичь только иррациональным сознанием. Поэзия для Бершина – не способ самовыражения, а способ познания мира. Потому что, в частности, русский поэт – не со-создатель сущего, а всего лишь переводчик с Божьего на русский.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-00165-214-4

© Бершин Е., 2021

© Алетейя, 2021

Содержание

Мертвое море	7
«Море – форточка неба, которую выбил Бог...»	7
«Господи, вспомни, ведь это же я...»	9
«Меня прислали сказать вам, что он не придет...»	10
«Вороватое небо крадется в закрытую дверь...»	11
«Ни земли, ни плодов. Разбрелись шерстяные отары...»	12
«Не трожьте лебедя и ворона не ешьте...»	13
«Средиземное море теряет ритм...»	14
«И снова я к тебе не успеваю...»	15
«Дальний пригород. Ночь холодна...»	16
«Когда мы шли с тобой в Ерушалаим...»	17
«Безымянный ваятель камней и гор...»	18
«Это цвет вытесняет цвет...»	19
«Что музыка? Один звучащий воздух...»	20
«Ничего не прошу – ни хлеба, ни очага...»	21
«Сырое одиночество огней...»	22
«Чужой, как Иосиф, забытый в колодце Москвы...»	24
«Юродивый, дурак, потомок пилигрима...»	25
«Зима как будто сыграна на лютне...»	26
«Хочу к Иисусу Христу...»	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Ефим Бершин

Мертвое море

В оформлении книги использованы работы И. Граве

© Е. Л. Бершин, 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

* * *

«Во мне печаль, которой царь Давид /По-царски одарил тысячелетья», – эти ахматовские строки всегда вспоминаются мне, когда я читаю Ефима Бершина. Напряженный ритм, открытая эмоция и полная смысловая концентрация – вот главные приметы его поэтики. Мы никогда не услышим, как пел царь Давид. Но когда Бершин читает свои стихи, мне всегда тревожно за него, больно за падший мир и радостно оттого, что поэтическое слово продолжает жить и действовать. Воистину «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим (Пс. 18:67,71).

Марина Кудимова, поэт, писатель, переводчик.

...Стихи эти так насыщены <...> страстностью, дают такой большой зрительный ряд событий и лиц, что <...> создают некую общую маску нашего времени. Но здесь – не маска, а живые события души на фоне безумного мира.

Инна Лиснянская, поэт, лауреат Государственной премии России.

...Стихи Бершина держатся не столько своей поэтической многозначностью, сколько тем, что можно было бы назвать «парадоксальностью звука». Именно он, звук, решает всё. Все эти частые ассонансные <...> рифмы с одной стороны, свидетельствуют о распаде самого бытия и поддерживающей его гармонии, а с другой – эстетически примиряют с той бездной, на краю которой мы оказались. Ибо поименованное уже менее властно над нами, чем неопознанное и неназванное. Конец истории осмыслен как гибель культуры, которая лишь и способна уберечь мир от подобного исхода.

Игорь Волгин, поэт, литературовед, доктор филологических наук, профессор.

Известные слова Гёте о расколоте мире и трещине, прошедшей сквозь сердце стихотворца, применимы к Ефиму Бершину напрямую. Любящие читатели чувствуют этот посыл через гудящую энергию его поэзии, которая непрерывно ищет духа, даже в самом прозрачном лирическом космосе. С годами эта лирика стала обретать и умножать ту отзывчивость, которую можно назвать «всемирной»: повеяло горячим хамсином, ветхозаветный огонь перехлестнулся с жаждой нового, христианского вопрошания. Это поэт с открытым забралом.

Павел Крючков, заместитель главного редактора журнала «Новый мир»

Мертвое море



«Море – форточка неба, которую выбил Бог...»

* * *

Море – форточка неба, которую выбил Бог.
И свобода – уже не свобода, а пепел Завета.
Я влачусь по пустыне уже за пределом свобод,
за пределом любви, за пределом пространства и света.

Перепуганный ястреб растаял в пространстве пустом,
в беспорядочном свете, как в стае взбесившейся моли.
Что ни город вдали – обязательно город Содом.
Что ни море у ног – обязательно Мертвое море.

И куда не пойду, и чего не коснется рука —
все уходит в песок, обращается все в пепелище.
Я влачусь по пустыне.
Я – часть мирового песка
из песочных часов,
у которых оторвано днище.

Говорила, что я не умею уже любить,
что любовь перепутана с болью.
Но любить человека – значит почти убить
человека вместе с его любовью.

Море – форточка неба.
По небу гуляют ветры.
Только ветры шумят.
И законы почти пусты.
Потому что уже подступает конец геометрий.
И из точки «я» все труднее добраться до точки «ты».

«Господи, вспомни, ведь это же я...»

* * *

Господи, вспомни, ведь это же я —
в новой матроске.
Рядом со мною мама моя
на перекрестке.

Так и стоим под ослепшим дождем
южного полдня.
Словно чего-то по-прежнему ждем.
Господи, вспомни!

Сам меня выбрал и сам не узнал,
и никогда не узнаешь, похоже.
Я ничего Тебе не доказал.
Ты мне – тоже.

«Меня прислали сказать вам, что он не придет...»

* * *

Меня прислали сказать вам, что он не придет,
Но мне самому не сказали, что он не придет.
«Он не придет», – хожу я и всем говорю,
не замечая, что дело движется к октябрю.

Не замечая, что дело движется к холодам.
Осень искрит, как улей, как Нотр-Дам.
Месяц серебряным ухом в стойле небес прядет.
«Он не придет, – говорю я. – Он не придет».

Скверы, трамваи, бюсты, реклама вин.
Мы – словно две собаки. Холодно нам двоим.
«Он не придет», – хожу я и говорю,
не замечая, что дело движется к октябрю.

Стынет трубач в подъезде. Спит виолончелист.
Снова вырастает в ветку желтый опавший лист.
Музыка заблудилась. Кто не придет? К кому?
Ум уже неподвластен собственному уму.

«Он не придет, – заклинаю. – Он не придет».
Кто-то шуршит над ухом, словно меня крадет.
Тени ворон. Аптека. Сходка ночных воров.
Лай поцелуев из проходных дворов.

«Вороватое небо крадется в закрытую дверь...»

* * *

Вороватое небо крадется в закрытую дверь,
то вселенским дождем, то дверною цепочкой звеня.
Бьется голубь в стекло. Неопознанный раненый зверь
причитает в ночи: «Это я, это я, это я».

Кто-то воет в окне. То ли пьяная баба с метлой,
то ли дождь затяжной, то ли свора бездомных дворняг.
Догорает осина. И пахнет печною золой.
И в дырявую дверь проникает внезапный сквозняк.

Что сказать тебе, друг, про бездомную жизнь сквозняка,
бесконечную жизнь, что сочится, не зная границ,
и внезапным ознобом доносит к тебе сквозь века
вереницу событий и тени исчезнувших лиц?

Я не помню событий. И лица почти не видны.
И билет на ковчег не оставил мне праведник Ной.
Лишь свирепые стрелы с давно позабытой войны
прошивают пространство и снова свистят надо мной.

Это голубь в окне. Это шелест тревожных шагов.
Догорает осина, и ржавые петли поют.
Это север во мне серебрится сияньем снегов
на таежных делянках. Но все-таки тянет на юг.

Там, где вязаный город клочками спадает со спиц
тополиных ветвей, и петляет в потемках река,
и растет виноград – там, наверное, мама не спит
и окно прикрывает, невольно страшась сквозняка.

Между нами стекло.
Электрический воздух дрожит,
распадаясь в ночи на молекулы воронья.
Догорает осина.
И все-таки хочется жить.
Что за голос в ночи?
Это я. Это я. Это я.

«Ни земли, ни плодов. Разбрелись шерстяные отары...»

*«Праведники наследуют землю
и будут жить на ней вовек».*
Псалтирь 36,29

* * *

Ни земли, ни плодов. Разбрелись шерстяные отары.
Где верблюды и овцы, и женщины цвета песка?
Только дождь за окном, заколоченный пункт стеклотары,
перебранка котов да таинственный зов сквозняка.

Расчлененное солнце садится огрызками дыни,
и врывается в окна чужой остывающий сад.
Пастухи и пророки навечно ушли из пустыни
и угнали стада, и уже не вернуться назад.

Ни земли, ни плодов. Темнота в засыпающем доме.
Из раскрытого тома сквозит бесполезный завет.
Лишь в сквозную дыру от пробитой гвоздем ладони
можно вечность увидеть и прочий нездешний свет.

Только дождь за окном. Листопад. И ни зги не видно.
То ли ночь на дворе, то ли лето пустили на слом.
Лишь ободранный нищий, похожий лицом на Давида,
в переходе метро допевает последний псалом.

«Не трожьте лебедя и ворона не ешьте...»

* * *

Не трожьте лебедя и ворона не ешьте,
а также цаплю, пеликана и удода.
Но прежде – ворона. И ближнего не режьте.
Не режьте ближнего – испортится погода.

Мы жили весело. И ворона не ели.
Стучали в бубны, пировали на поминках,
когда и пули нам свистели, как свирели,
и подрывались наши ближние на минах.

Но заповедал в Книге жизни или смерти
кудлатый выродок, пророк чернобородый:
не трожьте голубя и ворона – не смейте,
поскольку ворон неприемлемой породы.

Сегодня дождь смывает яблоки с деревьев —
как будто души избавляются от плоти.
И просыпается размытая деревня,
перенесенная с сезанновских полотен.

Как неожиданно испортилась погода!
Никто и знать не знал, не думал и не ведал.
Наверно, кто-то человеческого рода
на ужин цаплю или ворона отведал.

И дым клубится по-над выгоревшей нивой.
И скачут лошади, сбежавшие из Трои.
И где-то рядом, за Днестром или за Нилом
уходят в сумерки уставшие герои.

Им было облако и море – по колено.
Кутили за полночь, но заповеди чтили.
Все было б правильно, «когда бы не Елена».
Точнее – ворон. Вот его и не простили.

Бежали месяцы, как кровь бежит по венам.
Мы жили весело, того не зная сами,
что кто-то ворону однажды заповедал
кружить над площадью, усеянной глазами.

«Средиземное море теряет ритм...»

Илье Бершину

* * *

Средиземное море теряет ритм,
и волна пожирает волну.
И звезда уже больше не говорит
со звездой и идет ко дну.

И голодное море – только грим,
нанесенный на лик веков.
А на дне средиземном тоскует Рим
синкопическим лязгом оков.

А на дне средиземном пылает Храм,
изнывает Ирод, и род
человеческий заново к топорам
призывает беспечный рок.

И расплавленный ворон в дыму парит,
завершая тоскливый круг.
И из пены выходит не Кипр, а крик
Афродиты, лишенной рук.

И гремит барабанщик, не зная забот,
закипает кровь на губах.
Аритмия,
синкопы,
убитый Бог.
Иоганн Себастьян Бах.

«И снова я к тебе не успеваю...»

* * *

И снова я к тебе не успеваю.
И мне уже, наверно, не успеть,
не выдохнуть, не встать и не посметь
сказать тебе, что я не успеваю.

Я знаю: за чертой готовят плаху!
Да будет казнь!
Да будет на заре!
Мир праху твоему! Свобода – праху,
свободному как кровь на топоре,

в театре, где история – раба,
безгласная служанка Мельпомены,
рожденная, как Ева из ребра,
из синтеза коварства и измены.

Как та Иерихонская труба,
невинная приспешница Навина,
история преступна и невинна,
невинна и преступна, как раба,
страшащаяся вечно не успеть
на вечный пир, на собственную смерть.

Вот так и я к тебе не успеваю.
И мне уже, наверно, не успеть,
не выдохнуть, не встать и не посметь
сказать тебе, что я не успеваю,

что по пятам за мною из огня,
поспешно за собой мосты сжигая,
бежит, бежит, за мной не успевая,
эпоха обреченная моя.

«Дальний пригород. Ночь холодна...»

* * *

Дальний пригород. Ночь холодна.
Чьи-то тени на белой стене.
Словно здесь не земля, а луна
на обратной ее стороне.

Наизнанку развернутый свет.
Наизнанку развернутый звук.
Это снег. Это новый завет.
Это снова куда-то зовут.

Это манна засыпала двор
и дома, и мою колыбель.
Лишь у мусорной свалки, как вор,
озирается старый кобель.

Это снег. Это новый завет.
Это неба разодранный кров.
Из-под белого снега на снег
проступает ленивая кровь.

По дороге, под топот и лай,
где столбы из асфальта растут,
к заповедной земле, за Синай,
молодые собаки идут

то на Запад, а то – на Восток,
в ерихонские трубы трубя.
Я залаял бы, если бы смог,
да боюсь обнаружить себя.

«Когда мы шли с тобой в Ерушалаим...»

* * *

Когда мы шли с тобой в Ерушалаим
по переулкам и дворам Москвы,
где нас собаки провожали лаем,
где мы скрывались от людской молвы

в каком-то затрапезном кинозале,
где синий сумрак был неодолим, —
мы прятались, чтоб люди не узнали,
что мы с тобой идем в Ерусалим.

И даже там, на переходе узком,
где таял под ногами снежный наст,
скрывали лица, чтобы не был признан
никто из нас.

Мы крались подмосковными лесами
под небом, перевернутым вверх дном,
уже порой не понимая сами,
куда и идем и для чего идем.

И заблудились. И когда над бездной
явился город, белый, словно снег,
мы поняли, что город был небесным —
не тем, что нам привиделся во сне.

Горел рассвет. Как рог единорога,
белела башня в мареве огней.
И оставалось два шага до Бога.
И стало страшно. Но еще страшней

вернувшись, оказаться в том же зале,
где истины не видно из-за тел.
И стало ясно, что меня узнали.
Не те.
Не так.
И даже не затем.

«Безымянный ваятель камней и гор...»

* * *

Безымянный ваятель камней и гор,
и влюбленных бюстов, замерзших в сквере,
чья любовь прекрасна, как приговор
приговоренному к высшей мере,

если ты – создатель, то кто есмь аз
на земле, где давно уже места мало,
где фонарь, как единственный глаз, погас,
утонув в зеленой воде канала,

где апрельские воды из года в год
пожирают хищно и неустанно
прошлогодний снег, как дворовый кот
пожирает пролитую сметану.

Если ты – создатель, то аз есмь кто?
Словно скрипка, спрятанная в футляре,
я лишь звук, разгуливающий в пальто,
за бесценок купленном на базаре,

где в цене манекены, меха, труха
бытия, я давно осужден условно
как последний рецидивист стиха
и адепт религии православной.

«Это цвет вытесняет цвет...»

* * *

Это цвет вытесняет цвет,
уменьшая короткий век его.
Это боль сочится, как Новый Завет
просачивался из Ветхого.

И как будто бандитской финкой – в бок —
я нанизан, как туша – на вертел.
Это во мне умирает Бог,
который в меня так верил.

«Что музыка? Один звучащий воздух...»

* * *

Что музыка?
Один звучащий воздух,
украденный у ветра и калитки.
Мы тоже кем-то сыграны на скрипке.

И, словно тополиный пух, на воду
садящийся, мы тоже безъязыки,
как первый снег или ребенок в зыбке,
как легкий скрип январского мороза.

Исторгнутые, словно сгоряча,
размашистым движеньем скрипача,
ни замысла не зная, ни лица,
обречены до самого конца
искать следы шального виртуоза.

«Ничего не прошу – ни хлеба, ни очага...»

* * *

Ничего не прошу – ни хлеба, ни очага.
На иконе окна под музыку листопада
догорает тополь,
гаснут Твои стога
потому что – осень.
И мне ничего не надо.

Догорает тополь.
Время медленно движется к октябрю.
И, мгновенные истины у дождя воруя,
нет, не «дай» говорю,
«возьми», – Ему говорю.
Потому что сегодня я дарю.

«Сырое одиночество огней...»

* * *

Сырое одиночество огней.
Промокший бюст народного артиста.
Летит квадрига клодтовских коней
сквозь мелкий дождь, как колесница Тита,

с Большого – в направлении Кремля
над стройкой, подpiraемой кружалом,
над сквером, где трезвонят тополя
набатом перед будущим пожаром.

По улицам горбатым и косым,
неудержимо следуя прогрессу,
летит сквозь дождь Веспасианов сын,
влюбленный в иудейскую принцессу.

Уже давно распяли на заре
юродивого юного раввина.
И напряженно дремлет на золе
сожженная российская равнина.

И с Храма, заслонившего пустырь,
смывает дождь остатки позолоты.
Молчит Христос. Безмолвствует Псалтирь.
Не спят в Кремле кремлевские zeloty.

И поутру, покинув Мавзолей,
всесильный Ирод на всеобщем рынке
недоуменно бродит среди людей
и милостыню просит на Ордынке.

А люди, вырываясь из оков,
копают в рост ненужные окопы.
И, заглушая сорок сороков,
заводит Бах тревожные синкопы.

А дождь идет, холодный, проливной,
глухим напоминанием о Боге.
Я молча дирижирую луной
и больше не мечтаю о свободе.

Покуда мы свободою горим,
горят костры, смещаются границы.
Тоскует Русь.

Изнемогает Рим.
И Ирода украли из гробницы.

«Чужой, как Иосиф, забытый в колодце Москвы...»

*И взяли его и бросили его в колодец;
колодец же тот был пуст; воды в нем не было.
Бытие; 37-24*

* * *

Чужой, как Иосиф, забытый в колодце Москвы,
в бездонном дворе, где за окнами сушатся маски,
за то, что уже не умею молиться, как вы.
Ноябрь на пороге. Уже ни листвы, ни травы,
ни сна, ни покоя, ни даже купцов Медиамских.

Плывут облака, оставляя на небе следы.
Трясутся под небом горбатых строений верблюды.
И светятся храмы. Но так не хватает воды.
И новые люди опять вырубают сады.
Но я не умею молиться, как новые люди.

Не помню уже, из какой это было главы.
Тускнела над миром луна, как разбитая фара.
За то, что уже не умею молиться, как вы,
меня продавали в страну, где уже ни травы,
ни сна, ни покоя, а только жена Потифара.

И брат сумасшедший, сбежавший с картины Дали,
пасет надо мной на веревке ночную ворону.
Но я уже слышу полет колесницы вдали,
где вновь обретает обличье в кромешной пыли
под звуки Шопена зловещая тень фараона.

«Юродивый, дурак, потомок пилигрима...»

* * *

Юродивый, дурак, потомок пилигрима
на улицах Москвы творит под Новый год
молитву на уход из Иерусалима.
Молитву на уход.

Молитву на уход от храма и допроса,
от судей и суда.
Раздавленный тоской,
как будто от зевак на Виа Долороса,
уходит от толпы по каменной Тверской,

где из больших витрин спокойно, как со сцены,
играя свой спектакль с улыбками детей,
на площадь у метро выходят манекены
и бродят среди людей.

Осанна храбрецу, бежавшему от крови,
от мелочных измен, от заполошных дур,
от славы и от той пока невнятной роли,
которую внушил всевышний драматург.

Пока в больной душе еще мерцает вера,
и белый снегопад захватывает в плен —
осанна храбрецу, от камня Агасфера
бежавшему назад в блаженный Вифлеем,

где сеном дышит хлев,
и путь еще не ясен,
и гонят пастухи покорные стада,
и жертвенным быком у изголовья ясель
под самым потолком беснуется звезда.

«Зима как будто сыграна на лютне...»

* * *

Зима как будто сыграна на лютне
со звонким переливом и тоской.
А за окном давно уже не люди
бредут, как люди, люди по Тверской.

А за окном, давно уже не город,
бурлит, как город, город. И над ним,
пятном пожара, мертвенен и горек,
горит небесный Иерусалим.

И шелестят, как придорожный гравий,
пустые звезды, падая на снег.
Зима. Исчезновение географий.
Кровосмешенье улиц и планет.

И лишь собаки, оставляя метки,
вдруг обнажают логику систем
невиданных доньше геометрий,
неслыханных доньше теорем.

Плывут трамвайных окон кинокадры.
Материки уходят с молотка.
Все спутано. И контурные карты
опять играют нами в дурака.

Витрины подменяют образа.
Создатель спит. Банкуют кукловоды.
Шестерки бьют козырного туза.
И дамы исчезают из колоды.

«Хочу к Иисусу Христу...»

* * *

Хочу к Иисусу Христу,
туда, где луна – коромыслом,
где черных ночей пустоту
еще не заполнили смыслом.

Где воет, как раненый зверь,
песок, перемешанный с ветром.
И слово, скользнувшее в дверь,
еще не назвали заветом.

Туда, где у самой воды
пока не устроены церкви,
и цели еще не видны
и даже не выбраны цели.

Где спит на заре Назарет,
как в обмороке глубоком,
где юный еще назорей,
пока не назначенный богом,

в застолье к исходу поста,
хвалу принимая и ругань,
целует Иуду в уста,
как самого близкого друга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.